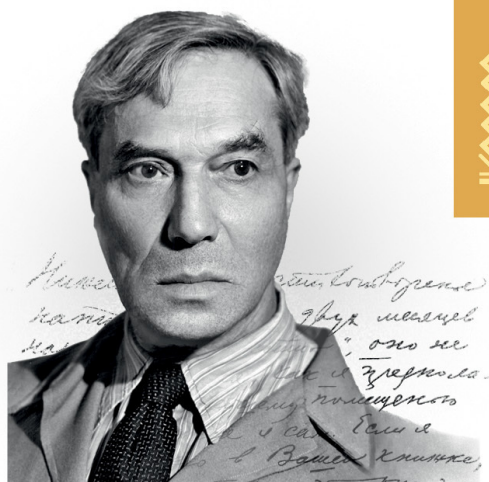
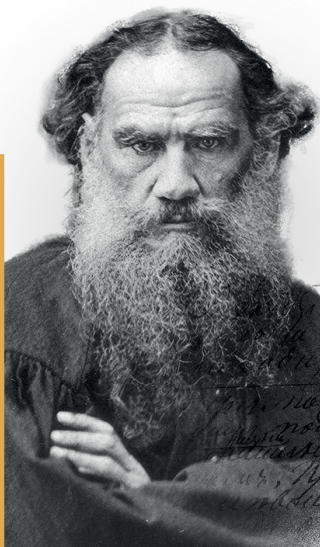
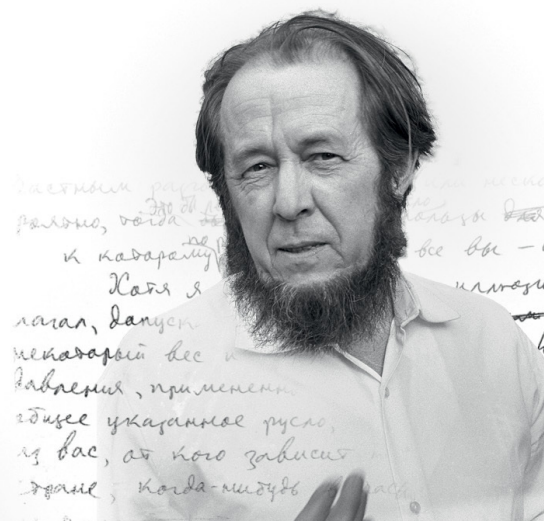


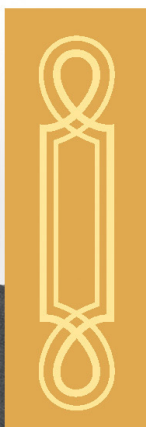
Гэри Сол Морсон

Перевод Елены Моисеевой

СТРАННИКИ

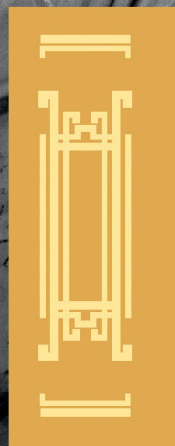


ИДЕАЛИСТЫ



БУНТОВЩИКИ

Русские писатели
в поисках смысла жизни
и ответов на вечные
проклятые вопросы



Гэри Сол Морсон

**Странники, идеалисты,
бунтовщики. Русские писатели в
поисках смысла жизни и ответов
на вечные проклятые вопросы**

«Азбука»

2023

УДК 82 + 821.161.1 + 94(47)
ББК 83.3(2)

Морсон Г.

Странники, идеалисты, бунтовщики. Русские писатели в поисках
смысла жизни и ответов на вечные проклятые вопросы /
Г. Морсон — «Азбука», 2023

ISBN 978-5-389-34398-6

Под небом Аустерлица Андрей Болконский осознает то, чего не осознавал прежде. Иван Тургенев в своих произведениях запечатлевает идеалистов – молодых мыслителей, романтиков, донкихотов. Герои Федора Достоевского бесконечно рассуждают о вопросах жизни и смерти и ищут на них ответы. Роман Евгения Замятина «Мы» становится первопроходцем жанра антиутопия, а воспоминания об ужасах ГУЛАГа или сталинизма, такие как «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург или «Воспоминания» Надежды Мандельштам, – признанными шедеврами мировой литературы. С XIX века русская классика задается такими вопросами, как: что есть добро и зло? Существует ли свобода выбора? Как идеология, обещавшая освобождение, привела к пыткам и подвалам НКВД? Почему невинные люди, приговоренные к лагерям, продолжали верить режиму, который их осудил? Можно ли сохранять веру в прогресс перед лицом репрессивной машины? Русская литература полна таких бесед и глубоких рассуждений. Многие нравственные вопросы, на которые философы не один век пытались найти ответы, русские писатели делали осязаемыми, острыми и удивительно сложными, превращая литературу в богатейший источник откровений. Из книги в книгу вневременные размышления о вечных вопросах будоражат умы читателей, задевая самые сокровенные струны души и помещая произведения величайших русских писателей в эпицентр всемирной литературы. Известный литературовед и славист Гэри Сол Морсон приглашает читателя в путешествие по великому литературному канону прошлого, исследуя, как идеи о добре, зле, свободе, моральной ответственности мигрировали из дворянских усадеб в революционные кружки и советскую действительность. Эта книга – глубокое исследование и захватывающая панорама русской

мысли, в центре которой – сама суть человеческой природы. «Русская литературная традиция – это диалог умерших (и иногда живых), растянутый на столетия» (Гэри Сол Морсон).

УДК 82 + 821.161.1 + 94(47)

ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-389-34398-6

© Морсон Г., 2023

© Азбука, 2023

Содержание

Введение	8
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Гэри Сол Морсон

Странники, идеалисты, бунтовщики.

Русские писатели в поисках смысла жизни

и ответов на вечные проклятые вопросы

Посвящается Мортону Шапиро

Изумление сталкивается с достоверностью.
Руфус Мэтьюсон

Способность удивляться – главная добродетель поэта.
Осип Мандельштам

Но разве чарующая сила учения не заключается именно в том, что оно постепенно раскрывает перед нами неожиданные горизонты? Мы еще не постигаем вполне всего, но нас манит идти все дальше к тому, что вначале кажется лишь смутными очертаниями...
Князь Петр Кропоткин

*Против чаянья многое боги дают:
Не сбывается то, что ты верным считал,
И нежданному боги находят пути;
Таково пережитое нами¹.*
Еврипид

*Жизнь по своей природе диалогична.
Жить – значит участвовать в диалоге.*
Михаил Бахтин

Gary Saul Morson
WONDER CONFRONTS CERTAINTY
Russian Writers on the Timeless Questions and Why Their Answers Matter

Опубликовано с согласия Harvard University Press через Alexander Korzhenevsky Agency
(Россия)

© Gary Saul Morson, 2023
© Моисева Е. А., перевод на русский язык, 2026
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
КоЛибри®

* * *

«Для Морсона чтение русской литературы – это жизнь между удивлением и уверенностью, пребывание где-то между смиренным благоговением и непреклонным догматизмом перед миром. Это колебание между удивлением и уверенностью не только формировало русские

интеллектуальные, литературные и политические дебаты в течение последних двух столетий, но и заставляет нас на Западе задуматься о том, кто мы в нашей собственной традиции – открыты ли мы для удивления и неожиданностей или самодовольно довольны своими знаниями».

Ли Трепанье, Public Discourse

«Странники, идеалисты, бунтовщики»: в своем исследовании Гэри Сол Морсон рассматривает эти три типа личности на протяжении двух столетий русской литературы. Это глубокая книга. Среди ее целей – подтолкнуть читателей к осознанию того, что страсть к обладанию определенной идеологией – настойчивой, материалистической, максималистской – может быть столь же опасным влечением, как и стремление к обладанию физическим телом».

Кэрил Эмерсон

«Энциклопедические знания Морсона о русской литературе поразительны, а его анализ – мастерский и глубокий... Эта [книга] свидетельствует о непреходящей актуальности великих русских литературных деятелей».

Publishers Weekly

«Увлекательная и необходимая книга. Опираясь на обширные знания русской истории и литературы и глубокое понимание русской прозы, Морсон объединяет две важные темы: захватывающий – и пугающий – рассказ о русском культе убийства от терроризма XIX века до его продолжения в советском государственном терроре, и его гуманистическое противоядие в великих русских писателях».

Роберт Альтер

«Эта увлекательная книга – литературная история, не похожая ни на одну другую, рассматривающая русские романы, рассказы и пьесы как великие исследования человеческого состояния. Это одновременно и краткий обзор самой литературы, и окно в “русскую душу”, и многое в ней поразительно актуально для вопросов сегодняшнего дня».

Хуссейн Абубакр, Mosaic

«Особый дар Морсона – представить русскую литературу как бесконечно возобновляемый источник откровений».

Боб Блейсделл, Los Angeles Review of Books

Введение

Великие беседы и проклятые вопросы

Попав в царство мертвых, Монтень говорит Сократу, что с его времен многое переменялось. Сократ приходит в восторг, но Монтень поясняет, что это перемены к худшему, потому что люди стали еще глупее. Когда боги вызывают великих императоров на состязание в бахвальстве, Александр, Цезарь и Октавиан объявляют себя величайшими правителями, однако боги отдают пальму первенства Марку Аврелию, потому что тот не хвастается. Три сатирика, Лукиан, Эразм и Рабле, обсуждают людскую глупость, а затем отправляются обедать со Свифтом. Торо спорит с Сэмюэлом Джонсоном о природе человека.

Эти беседы Фонтенеля, Юлиана Отступника, Вольтера и Джозефа Вуда Кратча являются примером жанра, берущего начало в Античности. Именуемые обычно «разговорами в царстве мертвых» – название, использованное первым великим мастером этого жанра Лукианом, – они описывают встречи мыслителей, которые жили в разных странах и эпохах и потому никогда не встречались в реальной жизни². Если вам интересно, что бы ответил Сократ тем, кто указывал на изъяны в его суждениях, стоит обратиться именно к этому жанру. В третьей книге «Путешествий Гулливера» (Gulliver's Travels) колдун вызывает дух Гомера и всех его комментаторов. Великий поэт не в состоянии понять толкование своих трудов.

В царстве мертвых и в Элизии³, в аду и в раю все друг другу современники. Величайшие мыслители и могущественные правители спорят и отстаивают свои убеждения перед лицом критики еще более резкой, чем та, с которой они сталкивались в нашем мире. Разве это не лучший способ выявить заблуждения, разоблачить притворство и приблизиться к истине?

В этих диалогах могли участвовать морские нимфы, куртизанки и боги, но все же среди участников преобладали философы и иногда правители. В наши дни известные историки-интеллектуалы также придерживаются духа этого жанра, воссоздавая встречи между реальными людьми, которые были знакомы друг с другом при жизни, и размышляя о них. В своем сочинении «Придворный и еретик» (The Courtier and the Heretic) Мэтью Стюарт рассуждает о встрече Лейбница и Спинозы; Стивен Надлер в книге «Лучший из всех возможных миров» (The Best of All Possible Worlds) разбирает аргументы Лейбница в споре с Мальбраншем и Арно; Карл Поппер и Людвиг Витгенштейн спорят в «Кочерге Витгенштейна» (Wittgenstein's Poker) Дэвида Эдмондса и Джона Айдиноу; а о сложных взаимоотношениях двух друзей, Дэвида Юма и Адама Смита, повествуется в книге Денниса Расмуссена «Неверный и профессор» (The Infidel and the Professor)⁴. Особенно интересными эти книги делает тот факт, что вопросы, на которые философы пытались найти ответы, по-прежнему сохраняют и, вероятно, будут сохранять свое значение.

Юм был хорошо знаком с античными диалогами в царстве мертвых. Под конец жизни он воображал, как будет спрашивать Харона, паромщика подземного мира, дать ему еще немного

² Подробное обсуждение «разговоров в царстве мертвых» как формы менипповой сатиры на примере Достоевского см. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского / Trans. С. Emerson. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. Глава 4.

³ Элизий – в античной мифологии часть загробного мира, где царит вечная весна, местопребывание теней умерших героев и особо праведных людей. – *Здесь и далее, если не указано иное, прим. ред.*

⁴ Stewart M. The Courtier and the Heretic: Leibniz, Spinoza and the Fate of God in the Modern World. New York: Norton, 2006; Nadler S. The Best of All Possible Worlds: A Story of Philosophers, God, and Evil. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2008; Edmonds D., Eidenow J. Wittgenstein's Poker: The Story of a Ten-Minute Argument Between Two Great Philosophers. New York: HarperCollins, 2001; Rasmussen D. S. The Infidel and the Professor: David Hume, Adam Smith, and the Friendship That Shaped Modern Thought. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2019.

времени: «Любезный Харон, я пытался открыть людям глаза, потерпи немного, чтобы я мог иметь счастье лицезреть, как закроют церкви, а священников отправят по своим делам». На что Харон ответит: «Ах ты, праздный бездельник, этого не случится в ближайшие 200 лет, думаешь, я дам тебе такую долгую отсрочку? Немедленно залезай в лодку»⁵. Лукиан и другие авторы прибегали к этому жанру, чтобы высмеять заблуждения философов, утверждавших, что они обладают знаниями, недоступными другим, а мастер скептицизма и иронии Юм не стеснялся посмеяться над самим собой.

Участники этих диалогов часто обращаются к главным вопросам философии и жизни. В этом отношении они углубляют логические построения платоновского «Пира» и подобных ему сочинений, выбирая эпоху вне рамок биографического времени. Зачем ограничиваться беседами, которые когда-то состоялись или могли состояться? Разве мы не узнаем больше, подслушав споры Конфуция, Заратустры, святого Павла и Марка Аврелия о смысле жизни? Определенно Шекспир, маркиз де Сад, Толстой и Фрейд смогут внести свою лепту в рассуждения о любви в «Пире».

Диалоги мертвых отличаются от философских бесед живых не только тем, что в них принимают участие люди из разных эпох и культур, но и тем, что в своем посмертном существовании духи больше не обращают внимания на жизненные обстоятельства. Все, что они скажут, больше не может пойти им на пользу или навредить. В диалоге Вольтера Эразм сожалеет, что больше не может позволить себе величайшее удовольствие – открывать глаза тем, кто сбился с пути, потому что «умершие не спрашивают дорогу»⁶. На слова собеседников уже не влияют повседневные заботы, как всегда случается в жизни, потому что у них больше нет повседневных забот. По той же причине ничего не значат культура и историческая эпоха, потому что царство мертвых находится за их пределами⁷.

И потому мыслители могут выражать свои идеи в чистом виде, доводить их до высшего завершения или изменять, чтобы они лучше соответствовали другим, столь же беспримесным идеям. Им больше нечего бояться и не к чему стремиться. Для этих бесед имеет значение лишь свобода от контекста и неотложных проблем.

А теперь вспомните о том, что когда Иван беседует с Алешей в самых важных главах романа «Братья Карамазовы», он представляет, будто высказывает свою окончательную позицию, находясь где-то за пределами жизни и глядя на нее сверху. Он утверждает, что такие разговоры являются типичными для русских людей:

«– Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?»

⁵ Цит. по: Miller S. The Death of Hume // Wilson Quarterly. Vol. 19. No. 3, 1995. P. 32.

⁶ Voltaire. Conversation of Lucian, Erasmus, and Rabelais // Candide and Other Writings / Ed. H. M. Block. New York: Modern Library, 1956. P. 469.

⁷ Юмористическая составляющая диалога Ивана Карамазова с дьяволом обусловлена в значительной степени тем, что дьявол утверждает, будто иной мир является историческим и следует человеческим интеллектуальным тенденциям. После Коперника космология совершенно изменилась, и в наши дни расстояние измеряется при помощи метрической системы, поясняет он.

– Да, настоящие русские вопросы о том: есть ли бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца, конечно первые вопросы и прежде всего, да так и надо, – проговорил Алеша, все с тою же тихой и испытующею улыбкой вглядываясь в брата.

– Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно...»⁸.

За этим следует одна из самых глубоких бесед в мировой литературе. В главе «Бунт» «вопрос зла» встает еще более остро и отчетливо, чем прежде, а в главе «Великий инквизитор» исследуются основные человеческие качества, сформировавшие историю и приведшие ко всем нашим бедствиям. Эти «русские разговоры» привносят свободу диалогов умерших в повседневную жизнь. В каком-нибудь лиминальном пространстве, будь то «вонючий трактир», купе поезда или постоянный двор на перекрестке, время будто останавливает свой ход, и люди начинают изливать душу, словно уже живут вне времени.

Достоевский любил задавать эти важные вопросы. Герой его рассказа «Сон смешного человека» начинает с нигилистического утверждения, что «я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было». Далее он переходит к солипсизму, чувствуя «всем существом моим, что ничего при мне не было»⁹. Решив покончить с собой, он сталкивается с маленькой девочкой, умоляющей о помощи, игнорирует ее и, к своему удивлению, тут же начинает испытывать угрызения совести. Возможно, ему вовсе не все равно? Вообразив, что застрелился, герой попадает в мир, в котором обитают безгрешные люди, как было в период золотого века. И несмотря на свою любовь к ним, он развращает их человеческим эгоизмом, жестокостью и порочностью. Почувствовав себя просвещенными, они начинают придерживаться рационалистических взглядов XIX столетия.

Пробудившись, герой понимает, что смысл жизни все же существует, находит девочку, которую прогнал, и начинает проповедовать эту новую истину людям, которые считают его «смешным». Во время путешествия в иной мир в процессе бесед с его обитателями до и после их падения и при столкновении собственной веры с нигилистическими убеждениями герой обращается к вечным вопросам в их чистой, беспримесной форме.

Никто не задается вечными вопросами более хитроумно, чем дьявол, постоянно навещающий Ивана Карамазова. В отличие от других образов дьявола в мировой литературе, он знаком с историей философии и теологии и опровергает утверждение Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». Поскольку христианская теодицея оправдывает существование зла как часть божественного замысла для достижения высшего блага, дьявол недоумевает, почему люди винят его в том, что он якобы создал все то, что задумано свыше, и ради чего он и был сотворен. «Я людей люблю искренно – о, меня во многом оклеветали!» – повторяет он¹⁰.

В отличие от сатаны Мильтона, дьявол Ивана читал книги о дьяволе – ведь он вовсе не неграмотный! – и нашел Мефистофеля Гёте неприятным. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» дьявол, посещающий атеистическую сталинскую Россию, передает свою беседу с Кантом о доказательствах существования Бога. Герой романа, писатель по прозвищу Мастер, совершенно верно представляет, что на самом деле говорили друг другу Иисус и Понтий Пилат, что и подтверждает дьявол, подслушавший их разговор.

Какой была бы русская литература без подобных эпизодов? Достоевскому удастся уравновесить фантазию и реализм, вводя в свои произведения эти загробные диалоги, происходящие со сновидцами, поэтами и сумасшедшими. Эти способы спасения реализма не истощают оригинальное мышление Достоевского. Как явствует из беседы Ивана и Алеши, Достоевский

⁸ Достоевский Ф. Братья Карамазовы / Trans. C. Garnett. New York: Modern Library, 1950. P. 277–278.

⁹ Достоевский Ф. Дневник писателя / Ed., trans. K. Lantz. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1993 (Vol. 1), 1994 (Vol. 2). P. 942.

¹⁰ Достоевский Ф. Братья Карамазовы. P. 776.

создает в нашей реальности диалоги, которые вполне могут происходить и в иной реальности. В романе «Бесы» Ставрогин беседует на вечные темы с Шатовым посреди ночи, когда само время кажется существующим вне времени. «Мы два существа и сошлись в беспредельности», – замечает Шатов, на что Ставрогин отвечает: «Вы все настаиваете, что мы вне пространства и времени»¹¹. В последующих главах монастырь, то есть место вне «этого мира», превращается в декорацию для беседы Ставрогина и мудрого монаха Тихона о смысле жизни. В «Преступлении и наказании» убийца и проститутка обсуждают притчу о Лазаре, воскресшем из мертвых. Антигерой «Записок из подполья» спорит о свободе воли, ответственности и природе человека с вымышленными оппонентами в месте («подполье»), где прячется от живых людей. В «Записках из Мертвого дома» таким местом становится тюрьма, как и в произведениях многих советских писателей.

Произведения русской литературы полны таких бесед. Из книги в книгу диалоги мертвых – вневременные размышления о вечных вопросах – происходят среди живых. Среди них множество незабываемых отрывков из произведений русской литературы. В романе «Война и мир» Пьер и Андрей неоднократно рассуждают о том, есть ли у жизни смысл. Когда один из них отчаивается, другой прославляет жизнь, и хотя их позиции меняются местами, вопросы остаются неизменными. Во время одной из самых известных их бесед «коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены, и уж солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили». Не обращая внимания не происходящее вокруг, герои делятся своими потаенными мыслями и переживаниями. «Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их, – восторженно говорит Пьер. – Надо жить, надо любить, надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там во всем». Андрей воспринимает его слова скептически, однако этот разговор знаменует начало перемен в его восприятии. «Началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь»¹².

В романе Алексея Писемского «Тысяча душ» сталкиваются романтизм и проза жизни, когда Белавин и Калинович рассуждают о том, действительно ли исследование жизни поглощает ее¹³. Когда много лет спустя Михалевич и Лаврецкий из «Дворянского гнезда» Тургенева встречаются на один вечер, то засиживаются допоздна, беседуя о том, «чему их научила жизнь». Вначале раздраженный «всегда готовый, постоянно кипучей восторженностью московского студента», Лаврецкий вскоре понимает, что «уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на который способны только русские <...> заспорили они о предметах самых отвлеченных – и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих»¹⁴.

Несколько подобных разговоров также происходят в «Докторе Живаго», написанном спустя столетие. В конце романа незнакомец, который оказывается Стрельниковым, нашел Живаго, после чего «они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те утраченные и тосковавшие, и те бешеные и иступленные»¹⁵. В романе Гроссмана «Жизнь и судьба» нацистский концлагерь является тем местом, где большевик Мостовской пытается завести разговор с немецким офицером и идеалистом Иконниковым. Нержин, Рубин и Сологдин Солженицына ведут подобные беседы, когда трудятся в «круге первом» шарашки (исследовательском инсти-

¹¹ Достоевский Ф. Бесы / Trans. C. Garnett. New York: Modern Library, 1963. P. 249, 253.

¹² Толстой Л. Война и мир / Trans. A. Dunnigan. New York: Signet, 1980. P. 471–472.

¹³ Писемский А. Тысяча душ / Trans. I. Litvinov. New York: Grove, 1959. P. 291–293.

¹⁴ Тургенев И. Дворянское гнездо / Trans. C. Garnett. London: William Heinemann, 1894. Перевзд. New York: AMS, 1970. P. 143–144.

¹⁵ Пастернак Б. Доктор Живаго / Trans. M. Hayward, M. Harari. New York: Random House, 1958. P. 456.

туте для заключенных). «Первый круг» ада Данте, в честь которого и получил свое название роман «В круге первом», является последней чертой («лимбом»). На ум приходят многочисленные примеры живых разговоров мертвецов из сочинений русской литературы.

В этой книге я постарался изобразить русскую литературную традицию как диалог умерших (и иногда живых), растянутый через столетия. Писатели и их герои, критики и идеологи спорят о вечных вопросах, занимавших и интересовавших русских людей и всех остальных во все времена. Меня интересует не только историческая сторона. Я решил сфокусировать внимание не на том, как социальные обстоятельства того времени формировали мировоззрение каждого мыслителя, а на том, как идеи разных великих мыслителей сталкиваются друг с другом в вечных спорах о вневременных и неизменных вопросах. В конце концов великую литературу делает ее способность выходить за рамки непосредственного контекста, и именно это превращает любое письменное сочинение в литературное произведение, а не просто в исторический документ. Если в «Гамлете» вы видите лишь документ исторической эпохи, значит, вы упустили в нем самое главное¹⁶.

Не только «русские мальчики» любили рассуждать о «вечных вопросах». Как подтверждают авторы многочисленных мемуаров, «русские девочки» также считали осмысленной жизнь, посвященную какой-либо высшей цели, например установлению Царства Божьего, преодолению смерти, устранению всякой несправедливости или, если цель человеческой жизни оставалась неизвестной, попыткам ее обнаружить. Уже часто отмечалось, что русское слово «правда» означает одновременно «истину» и «справедливость», и потому достойной считалась жизнь, посвященная правде.

Когда русскую литературу впервые оценили на Западе, читателей поразило, насколько прямолинейно в ней ставились вечные вопросы, которые авторы благопристойных французских и английских романов либо не поднимали, либо делали это в завуалированной форме. Как объяснял один из героев Достоевского, русские умели «чувствовать идею». Психологически злободневные и философски глубокие произведения русской литературы не только с невиданной прежде прозорливостью исследовали человеческую душу, но и включали в себя пространные обсуждения психологических вопросов. В романы «Война и мир» и «Братья Карамазовы» вошли небольшие трактаты о работе человеческого разума: в первом случае это рассуждения автора, а во втором – отдельных героев. Хэвлок Эллис¹⁷ объяснял эту потребность отказаться от вежливого увливания от ответов на острые вопросы «глубоким чувством обязанности быть честным»¹⁸. Джон Купер Поуис¹⁹ соглашался с ним: «Есть так много того, о чем писатели, даже реалисты, не могут и не станут говорить. <...> Но этот русский [Достоевский] беспощаден»²⁰.

Англичане писали о манерах, а русские – о душе. «[Сама] душа является главным героем русских романов», – отмечала Вирджиния Вулф в своем эссе «Русская точка зрения» (The Russian Point of View). Душа в ее глубочайшем трепетном смысле личности человека, того, что Достоевский называл «человеком в человеке», «чужда» англичанам, отмечала Вулф. «Она им даже враждебна». Но романы Достоевского «целиком и полностью состоят из души. И нас невольно затягивает туда, начинает кружить в этом водовороте, мы ослеплены, задыхаемся,

¹⁶ По замечанию Джона Эллиса, «литературными называются такие тексты, которые общество использует таким образом, что тот или иной текст не относится конкретно к непосредственному контексту своего оригинала». Ellis J. M. The Theory of Literary Criticism: A Logical Analysis. Berkeley: The University of California Press, 1974. P. 44.

¹⁷ Генри Хэвлок Эллис (1859–1939) – английский врач, прогрессивный интеллектуал и реформатор, стоявший у истоков сексологии.

¹⁸ Orel H. English Critics and the Russian Novel, 1850–1917 // The Slavonic and East European Review. Vol. 33. N. 81, июнь 1955 года. P. 459.

¹⁹ Джон Купер Поуис (1872–1963) – английский романист, философ, лектор, критик и поэт.

²⁰ Powys J. C. Visions and Revisions: A Book of Literary Devotions. New York: G. Arnold Shaw, 1915. P. 235.

и в то же время нас переполняет головокружительный восторг. За исключением Шекспира, не существует более волнующей литературы». По сути, русские понимают, что все мы «души, страдающие, несчастные души, чье единственное занятие – говорить, раскрываться, исповедаться». Некоторым читателям русская литература кажется одной длинной исповедью²¹.

Русские писатели, продолжает Вулф, предлагают английским читателям пережить совершенно иной опыт. Мы больше не располагаемся с удобствами на берегу, а погружаемся непосредственно в воду. Мы читаем «лихорадочно, безумно, торопимся, спешим, то погружаясь в воду, то в момент просветления понимая больше, чем когда-либо, переживая такие откровения, которые можно пережить, лишь живя полной жизнью <...> перед нами предстает новая панорама человеческого разума», и мы видим обнаженную человеческую душу «с ее страстями, смятением, удивительным смещением красоты и зла. <...> Она накрывает нас, эта горячая, опаляющая, противоречивая, чудесная, страшная, гнетущая человеческая душа»²².

Вулф была не одинока в своем мнении. В первых десятилетиях XX века русская литература захватила Европу и Америку. Прежде всего она была *серьезной*, как никакая другая литература: она призывала людей отвлечься от накопления богатства, технологического прогресса и быстрого развития научного знания и полностью погрузиться в то, что составляет саму жизнь. Говоря словами Вулф, она вынуждала нас задаться вопросом: «Для чего мы [вообще] живем?»²³ Для тех, кто утратил религиозную веру, русская литература стала способом исследования вопросов религии, а для тех, кто эту веру сохранил, она превратилась в средство ее оживить. Критики и писатели наперебой осыпали произведения русской литературы похвалами, и потому неудивительно, что Арнольд Беннетт²⁴ утверждал, что «12 самых лучших романов написаны русскими писателями»²⁵.

Благоговейное осмысление литературы, типичное для России, до глубины души поразило жителей западных стран, находящихся в поисках нравственного наставничества. Толстого, Достоевского, Тургенева и Чехова читали не для удовольствия. Зачастую их произведения были скорее неприятными. К ним не обращались, чтобы восхититься писательским мастерством, как у Флобера. Несомненно, рассказы Чехова выделялись, как совершенные драгоценные камни, являвшиеся идеальным олицетворением жанра рассказа, но другие русские шедевры являлись или казались тем, что Генри Джеймс замечательно назвал «бесформенными мешковатыми монстрами», которые каким-то таинственным образом благодаря своему непревзойденному психологическому реализму и нравственной напряженности восторжествовали над всеми эстетическими недочетами²⁶.

Русская литература вывела пробудившихся читателей из состояния нравственного оцепенения и вынудила их переосмыслить свою жизнь. Подобно Толстому, по словам Максима Горького, она вперила в них свой безжалостный взгляд, от которого было не скрыться²⁷. Поуис сравнивал чтение Достоевского с физическим нападением. Это был словно «удар в лицо в конце темного переулочка, удар, после которого в ваше горло вцеплялись чужие руки»²⁸. Русские романы никого не оставляли равнодушными. Джон Миддлтон Мерри, автор первого

²¹ Woolf V. The Russian Point of View (1925) // The Essays of Virginia Woolf, 1925–1928 / Ed. A. McNeillier. Vol. 4. Orlando, Florida: Harcourt, 1994. P. 186.

²² Ibid. P. 187–188.

²³ Ibid. P. 189.

²⁴ Инок Арнольд Беннетт (1867–1931) – английский писатель, журналист и драматург.

²⁵ Bennet A. Russian Fiction // The Savior of Life: Essays in Gusto. Garden City, New York: Doubleday, Doran, and Company, 1928. P. 127.

²⁶ James H. Preface to the Tragic Muse // The Art of the Novel. New York: Scribner's, 1934. P. 84.

²⁷ «Лгать перед ним – нельзя», – сказал Горький о Толстом. Gorky M. Reminiscences of Tolstoy, Chekhov, and Andreyev. New York: Viking, 1959. P. 16.

²⁸ Powys J. C. Visions and Revisions. P. 241.

серьезного исследования творчества Достоевского на английском языке, испытал «неописуемый никакими чувствами ужас. На одно страшное мгновение я как будто увидел все глазами вечности». Очевидно, подразумевая встречу Ивана с Алешей, Мерри писал, что «в некоторых незабываемых фрагментах диалога слышал голоса духов в отвратительном, убогом трактире. <...> И тогда я испытал страх, при воспоминании о котором по моему телу пробегает дрожь <...> вечный метафизический ужас»²⁹.

В век материализма, прагматизма и самодовольной уверенности, повторяли критики, эти русские писатели откровенно высказывали истины о жизни, находящиеся за рамками так называемых гуманитарных наук. Мерри увидел нечто пророческое в том, что сочинения Достоевского появились в тот момент, когда повсюду утвердилось неприкрытое «метафизическое бесстыдство» якобы научного подхода ко всем вопросам. Посреди этого кризиса, писал он в начале своей книги, мы должны прислушаться к его словам, «даже рискуя гибелью собственной души»³⁰.

Русские писатели делали нравственные вопросы осязаемыми, острыми и удивительно сложными. Советский период, когда по сравнению с ГУЛАГом тюрьма, описанная в автобиографическом романе Достоевского «Записки из Мертвого дома», казалась курортом, еще больше обострил дар писателей прошлого столетия проникать в суть вещей.

Литературные произведения о тяжелых испытаниях

Русские писатели и мыслители откликнулись на события, переживаемые их страной, которые в своей предельной форме не располагали к эвфемизмам. В том, что зло есть зло, не сомневался никто в ГУЛАГе, и если добро еще сохранилось, то лишь посреди ужасающих страданий.

До 1917 года царская Россия оставалась символом угнетения даже после того, как в 1861 году произошло освобождение крепостных крестьян, которые фактически являлись рабами и зачастую именно так и назывались. Многим западным путешественникам и обозревателям казалось, что нет хуже страны, чем Россия. Общеизвестно, что маркиз де Кюстин, противник представительного правления, родители которого погибли во время французского террора, в 1839 году посетил Россию в надежде доказать превосходство абсолютизма. Однако условия жизни настолько ужаснули его, что после возвращения, как и в случае с Андре Жидом, вернувшимся из СССР столетие спустя, его взгляды совершенно переменились³¹. Кюстин объяснял, что под абсолютизмом он понимал относительно милостивые монархические режимы Австрии и Пруссии, где тот смягчался цивилизованными традициями. Однако Россия лучше любого трактата демонстрировала все ужасы деспотизма.

Но деспотичная царская Россия не могла даже отдаленно сравниться с тем, что пришло ей на смену. «Жатва скорби» (*The Harvest of Sorrow*), 400-страничное классическое исследование коллективизации сельского хозяйства в период с 1929 по 1933 год, написанное Робертом Конквестом, начинается с замечания о том, что «во время описываемых здесь событий на каждую букву каждого слова в этой книге приходилось 20 погибших»³². Целенаправленная организация голода, унесшего миллионы жизней, стала всего лишь одним из эпизодов: миллионы советских граждан уже погибли в период проведения Лениным политики военного коммунизма, и еще миллионы погибли во время Большого террора 1930–1938 годов, а также

²⁹ Middleton Murry J. *Fyodor Dostoevsky: A Critical Study*. New York: Russell and Russell, 1966. P. 33–34.

³⁰ Ibid. P. 5.

³¹ *Marquis de Custine. Empire of the Czar: A Journey Through Eternal Russia*. New York: Doubleday, 1989. См. также эссе Андре Жида в *The God That Failed* / Ed. R. Crossman. New York: HarperCollins, 1949. P. 165–195.

³² *Conquest R. Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine*. New York: Oxford University Press, 1986. P. 1.

насильственной депортации в Сибирь целых народностей в 1940-х годах. Советский Союз проложил дорогу для ужасов, сотворенных в последующие десятилетия другими тоталитарными режимами, большинство которых были созданы по модели СССР.

Подобно тому как американцы изобретают технические устройства, Ленин изобрел новую форму правления. Вне зависимости от того, поддерживали они его или осуждали, русские советские писатели отдавали себе отчет, что этот тоталитарный режим являлся беспрецедентным. Ленин построил первое государство на основе абсолютного террора, который, по его утверждению, был не временным средством для достижения цели, а постоянным свойством нового общества. Вскоре этот террор стал угрожать не только этническим меньшинствам, классовым врагам и другим презируемым группам населения, но практически каждому, за исключением самого правителя. При Сталине не только действия, но и мысли были объявлены преступными. Среди преступлений, за которые следовало наказание, были не только «измена» и «вредительство», но также *подозрения* в измене или вредительстве, а следующим шагом стали обвинения в связи с тем, кого только подозревали в измене или вредительстве. Быть женой подозреваемого само по себе являлось преступлением, и существовали отдельные лагеря для жен врагов народа. В сущности, людей арестовывали беспорядочно в соответствии с квотой.

В период Большого террора особенно часто арестовывали высших партийных функционеров, генералов и адмиралов. Это же касалось и сотрудников НКВД. Предчувствуя свой неминуемый арест, агенты НКВД часто предпочитали совершить самоубийство, нежели терпеть те же пытки, которым они подвергали других. Я не знаю ни одного другого общества, где террор превратился в рутину для каждого, где «беспоощадность» считалась добродетелью, а школьников учили, что сострадание является преступлением. До Советского Союза ни в одной стране мира огромное количество невинных людей не приговаривали к рабскому труду, который сопровождался недоеданием, а порой, как на печально известной Колыме, работой на воздухе при температуре –60 градусов, когда запрещалось надевать валенки и другую теплую одежду. В своих воспоминаниях о лагерях Дмитрий Панин недоумевал, почему все так негодуют по поводу рабства в Древнем Египте, поскольку у тех рабов, в отличие от заключенных ГУЛАГа, были семьи³³, их нормально кормили и, разумеется, они не лишались пальцев из-за обморожения³⁴.

В подобных условиях вечные вопросы становились все более животрепещущими. Сложно представить заключенного Освенцима или, например, ГУЛАГа, который считал бы зло всего лишь социальной условностью. Различие между правдой и ложью также неприменимо к той или иной точке зрения. И хотя в окопах не бывает атеистов, на Колыме, если верить мемуаристам, имелось несколько радикальных скептиков.

Люди задавались вопросом: как идеология, обещавшая освобождение, привела к такому? Почему многие невинные люди, приговоренные к пыткам и лагерям, продолжают верить режиму, который их осудил? Почему представители этого режима не только пытали людей согласно протоколу, но и придумывали новые изощренные способы причинения боли? И как они сами относились к тому, чем зарабатывали на жизнь? Какие оправдания придумывали те, кто совершал чудовищные преступления, какими моральными алиби они прикрывались и что делало эти оправдания убедительными для них? Что способны пробудить в человеческой психике невероятные страдания и невиданная жестокость? Когда смерть стала предпочтительнее жизни? Можем ли мы извлечь уроки о вине, самообмане, политических и философских убеждениях, социальных изменениях, революции и о том, как следует жить?

³³ В оригинале Панина («Лубянка—Экибастуз») в соответствующем отрывке (глава 14 «На Воркуте (Продолжение)», часть «Темнейший князь») семьи египтян не упоминаются.

³⁴ Панин Д. Лубянка—Экибастуз / Trans. J. Moore. New York: Harcourt Brace, 1976. P. 232.

«Пережившим первый год лагеря стало ясно, – отмечал Панин, – что <...> испытание доктрин, определяющих отношение человека к миру, происходит именно и только в страшных, а не в благополучных условиях»³⁵. Люди, попавшие в тяжелейшие условия, зачастую вставляли перед выбором спасти свою жизнь ценой чужой жизни, и мемуаристы, среди которых были и атеисты, отмечали, что чаще всего выживать на таких условиях отказывались верующие, будь то баптисты, православные, мусульмане или иудеи. В отличие от них, образованные атеисты, уверенные в своих представлениях о добре и зле, сдавались быстрее других при появлении угрозы их жизни или благополучию. Заключенные с учеными степенями задавались вопросом: были ли верующие такими стойкими по причине своей наивности или мудрости? Мог ли ад на земле укреплять веру и быть дорогой к ней? Может быть, это было зло, обернувшееся благом? Тот, кто забирал в семью детей арестованных, подвергался опасности, и образованные люди недоумевали, почему эрудированные представители интеллигенции боялись рисковать, в то время как необразованные пожилые женщины не испытывали страха? Неужели Толстой был прав и порой образование может уводить от истины?

В свете событий в России и Советском Союзе можно ли сохранять веру в законы прогресса или любые другие исторические законы? Не могла ли приверженность справедливости порождать еще большую несправедливость? Является ли утопия достойной целью, которая, даже будучи недостижимой, показывает, к чему следует стремиться, или же это одно из самых коварных дьявольских искушений?

Какая ответственность ложится на тех, кто стал свидетелем подобного зла или сам испытал его? После того как некоторые из них выжили в лагерях, стоит ли им рисковать получить очередной срок, записывая то, что им пришлось перенести? Поймут ли их те, кому не довелось испытать того, что испытали они? Некоторые бывшие заключенные, понимая, что не в силах этого сделать, отказывались возвращаться к своим семьям, которые навсегда стали им чужими.

Как же увековечить зло в памяти? Некоторые считали, что этого делать не стоит, потому что забвение – путь к исцелению. Другие же считали забвение грехом столь же тяжким, как сами грехи, о которых забудут, потому что это приведет к повторению истории. Может ли дьявол подталкивать нас не только к действию, но и к бездействию? Является ли забвение величайшим из зол?

Те, кто выжил в нацистских лагерях, тоже задавались такими вопросами, и, как полагали некоторые русские люди, именно выжившие могли понять их лучше других. Василий Гроссман, первым запечатлевший события Холокоста, разворачивающегося на советской земле – его душераздирающий очерк «Треблинский ад» стал одним из доказательств во время Нюрнбергского процесса, – демонстративно включил описание нацистского концлагеря в свои романы «За правое дело» и «Жизнь и судьба», позволившие ему задать вопросы, которые могли относиться и к советским лагерям, если читать между строк.

Главные вопросы, впервые поднятые в XIX веке и еще больше обострившиеся во время событий советской истории, заполняют страницы русских книг, критических очерков и философских рассуждений. Они породили ряд исключительно русских жанров. Поэтому неудивительно, что именно русский писатель Евгений Замятин, чей роман «Мы» стал первопроходцем жанра, который мы теперь называем антиутопией, – к нему относятся такие работы, как «Дивный новый мир» (Brave New World) Хаксли и «1984» Оруэлла, – изображает бесчеловечный (или антиутопический) мир, созданный на основе утопических стремлений. Хаксли и Оруэлл были знакомы с романом Замятина и, в свою очередь, вдохновили многих на написание других антиутопий. Разве удивительно, что первый роман о лагере для политзаключенных, «Записки из Мертвого дома» Достоевского, появился именно в России? И удивительно ли, что у русских, ставших создателями современного терроризма, также появился жанр, который можно назвать

³⁵ Ibid. P. 81.

«террористическим романом»? Помимо литературных шедевров, исследующих террор, таких как «Бесы» Достоевского и «Петербург» Андрея Белого, этот жанр – что удивительно – также включал увлекательные произведения, написанные самими террористами.

Но самой главной специализацией русских писателей был роман идей, хотя они не являются изобретателями этого жанра. Под романом идей я подразумеваю реалистическую литературу, в центре внимания которой находятся человеческая психология и социальные условия, характерные для определенной эпохи и места, и которая подвергает эти теории испытанию, исследуя причины их притягательности и их последствия. Джордж Элиот, Генри Джеймс, Джозеф Конрад, Оноре де Бальзак и другие авторы создали великолепные образцы этого жанра, и русские писатели были хорошо знакомы со своими европейскими предшественниками. Роман «Отец Горио» (Père Goriot) оказал влияние на «Преступление и наказание», а «Мидлмарч» (Middlemarch) – на «Анну Каренину» еще до того, как влияние это изменило свое направление. Затем Толстой и Достоевский прославились как мастера жанра и стали образцами для западных писателей. Тургенев, Чехов, Гроссман, Пастернак и Солженицын также создали известные образцы романа идей. Своей мощью эти произведения частично обязаны глубине авторских озарений и частично – изобретательным литературным приемам для их выражения. Мы исследуем оба этих аспекта.

Триктрак Юма

В романе Джордж Элиот «Мидлмарч», который, пожалуй, является величайшим философским романом, не написанным русским автором, писательница, склонная к афоризмам и мудрым философским отступлениям, пишет о роли идей в английском обществе. Абстракции завораживают некоторых персонажей, но рассказчик объясняет, что «действовать, исходя из убеждений, не полагается – это служит надежной защитой для общества, а также для семейной жизни. Разумные люди ведут себя как все, и если появляются сумасшедшие, их нетрудно распознать и избегать»³⁶. У персонажа Элиот, Лидгейта, могли быть радикальные взгляды, отмечает она, но, «погревшись у французских социальных теорий, он не привез с собой запах паленого. Мы можем безнаказанно заигрывать с самыми крайними мнениями, когда наша мебель, наши званые обеды и наш фамильный герб, которым мы гордимся, неразрывно связывают нас с установленным порядком вещей»³⁷.

Такие суждения, несомненно, были свойственны Англии XIX века, однако у русской интеллигенции с установленным порядком вещей не была связана никакая «надежная защита». Следы «опаливания» были повсюду, и представители русской интеллигенции в реальной жизни и в литературе презирали нежелание применить радикальные идеи на практике.

³⁶ Здесь и далее роман цитируется в переводе И. Гуровой и Е. Коротковой. – *Прим. пер.*

³⁷ Eliot G. Middlemarch. New York: Modern Library, 1984. II. P. 335.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.